Валерий Ильич Корниенко — участник литературно-музыкального клуба «Вдохновение» при Архаринской межпоселенческой центральной библиотеке. Уроженец с. Иннокеньевка, по образованию учитель истории, ныне пенсионер. Писать начал в студенческие годы, печатался в газетах «Амурская правда», «Эхо», «Амурский дилижанс». Победитель II областного литературного конкурса «Земли родной талант и вдохновенье» (2017).

Рассказы

«Приказано сопроводить»

(По воспоминаниям старожила села Иннокентьевка Ивана Васильевича Вырупаева)

Итак, станица Иннокентьевская, 1920 год.

Прошло более полутора десятков лет, как закончилась бойня под Порт-Артуром, но война не отпускала Зубарева Аверьяна, незаживающим рубцом продолжала жить в нём, напоминая о себе ночными кошмарами и дикими приступами боли в искалеченной руке.

Боль возникала внезапно, мгновенно разливалась по телу, заполняя все уголки, и, заполнив до краёв, криком вырывалась наружу. Крик проносился над истыканными воронками от взрывов кособокими маньчжурскими сопками с копошащимися на их склонах фигурками солдат. Ударяясь в изувеченную войной землю, он уносился ввысь и тонул в вате серо-грязных облаков. Вместе с криком исчезала и боль...

Тем ранним утром Аверьян просыпался, с трудом отгоняя остатки сна и ощущая лёгкое жжение в изуродованной японским тесаком правой руке. С улицы донёсся чей-то зов, который окончательно разбудил Аверьяна. Он наскоро оделся и вышел на крыльцо. У двора, сдерживая коня, стоял посыльный станичного атамана:

- Аверьян, тебя станичный кличет!
- Что за надобность в такую рань?
- Япошки у пристани, оглядываясь по сторонам и понизив голос, сообщил посыльный.
 - Кто?! не поверил Зубарев.
- Японский отряд на барже приплыл из Благовещенска. Ты и оба Отченаших проводниками к ним приставлены так атаман распорядился, скороговоркой проговорил посыльный и починтересовался: Одинаковые дома? Он имел в виду близнецов Козьму и Демьяна Отченаших.
- Не знаю... Они на днях собирались гуся поить, — неопределённо пожал плечами Аверьян, поворачиваясь к дому.

В доме он быстро оделся и направился в станичное правление. Оно находилось возле пристани, и Аверьян, подходя, увидел приставшую небольшую баржу и японских солдат, выталкивающих на крутой берег пушку с коротким стволом.

...И вновь перед ним взметнулось опрокинутое взрывом небо, оглушив внезапной тишиной.

Заблестело лезвие тесака, заслоняя нестерпимым сверканием иссечённые осколками ветки деревьев и небо с мчащимися рваными облаками.

Опять это перед глазами: слепящее солнце на лезвии, выше — околыш японской фуражки, ниже, чуть в тени — оскаленные зубы. Он заслоняется рукой... Дикая боль разрывает солнце и рот в беззвучном крике... Из забытья Аверьяна вырывает голос атамана. Сцепив до скрежета зубы, сдерживая рвущийся стон, повернул он к правлению.

Атаман стоял на крыльце, поджидая казака. Рядом крутился низкорослый японский офицер. На перилах сидел военный в форме без погон, брезгливо отгоняя прутиком летающих мух. Возле крыльца топтались несколько японских солдат. Увидев подходящего казака, они загородили ему дорогу и вопросительно глянули на своего офицера. Аверьяна обожгло: казака в родное правление не пускают. От изматывающей боли и накатившей злобы он заскрежетал зубами.

Офицер махнул солдатам: пропустить. Те расступились, пропуская Зубарева, и сомкнулись за его спиной. Атаман, пытаясь изобразить на лице улыбку, произнёс:

— Рекомендую, господа, казак Зубарев, лучший охотник, непревзойдённый пластун под Порт-Артуром... — И осёкся, натолкнувшись взглядом на мгновенно окаменевшее лицо японского офицера.

Русский военный, перестав отгонять мух, уставился не мигая на казака. Аверьян, набухнув желваками, хмуро смотрел на атамана. Тот оправился от заминки и продолжил:

- Лучшего проводника не сыскать, господа. Придам ему двух казаков, и сопроводят они вас, господа, в самом лучшем виде. Затем повернулся в Аверьяну и отдал приказ:
- Казак Зубарев, сопроводить отряд лейтенанта Кабаяси и штабс-капитана Веклича на Николаевские прииски.
- С какого ляду казаки с желтозадыми стали дружковаться? в ответ процедил Аверьян.

Резкая боль задергалась в руке, Зубарев по-качнулся, заскрипев зубами.

Солдаты придвинулись к нему. Кабаяси гортанно выкрикнул команду, и солдаты навалились на казака, заламывая ему руки. От дикой пронизывающей боли Аверьян взвился дугой.

Штабс-капитан, бросив прутик, мигом слетел с крыльца, подскочил к Аверьяну:

— Молчать, быдло! — И размахнулся, намереваясь ударить, но казак, по-бычьи наклоняясь, опередил его, ударив головой в лицо. Во рту Веклича хрястнуло, из разбитых носа и губ брызнула кровь. Он покачнулся и, нелепо взмахнув рукой, свалился под ноги Зубареву. Кабаяси скатился с крыльца, выхватил из ножен саблю и принялся тыкать ею в грудь Аверьяна:

— Порт-Артур... Артур... Ты был... я был... Ты убил... я убил...

Между ними оказался атаман:

— Господа, господа, успокойтесь!.. Господа, прежде дело, оставьте амбиции!

Кабаяси, резанув казака сузившимися, как лезвие ножа, глазами, кинул саблю в ножны и выкрикнул команду. Солдаты отступили от Зубарева. Двое из них подняли Веклича и повели его в правление. Атаман, пряча глаза, глуша голос, обратился к Зубареву:

— Аверьян, не моя это воля. Из Благовещенска бумагу с печатью привезли, будь она проклята вместе с японцами... прости меня, Господи. Сопроводи их на прииски, прошу тебя...

Зубарев молчал, глядя себе под ноги, пытаясь перетерпеть изматывающую боль.

- Понимаю, что враги они тебе, но некого мне больше послать, продолжал уговоры атаман. Свалились на мою голову... И он выругался с досадой.
- Атаман, поднял глаза Аверьян, ты же знаешь, что на приисках Гребеньков с партизанами. Там и наши станичные есть. Побьют их японцы из пушек да пулемётов.
 - Не побьют, у них с красными замирение.
- Какое замирение?! отмахнулся Зубарев. Ты же знаешь, что пакостнее японца нет: сам лыбится, а тесак норовит между рёбер засунуть.

Подскакал посыльный и, показывая в сторону Амура, сообщил:

 Отченаши там, на острове, гусей поят, утром должны вернуться.

Атаман в сердцах выматерился и вновь отдал приказ:

— Казак Зубарев, утром дожидаться Отченаших и сопроводить прибывший отряд на Николаевские прииски! — И, уже поднимаясь на крыльцо, стараясь не замечать тяжёлого взгляда Аверьяна, прикрикнул: — И без дури там!.. А то знаю вас, бесконвойных.

Аверьян повернулся, отодвинул в сторону загораживающего дорогу японского солдата

и зашагал к берегу Амура. Уселся на прибитое волнами, выбеленное солнцем бревнышко и принялся рассматривать песчаную косу острова Картёжного, вытянувшегося длинным языком вдоль противоположного китайского берега. Он попытался на острове рассмотреть Козьму и Демьяна, которые отправились туда промышлять диких гусей. Наконец ему удалось рассмотреть две покачивающиеся фигурки. Аверьян впервые за утро слегка улыбнулся, вспомнив о том, как эти близнецы добывали гусей.

В китайской деревне братья разживались спиртом. Предварительно попробовав его на крепость, замачивали в нём зерно, которое разбрасывали на песчаной косе, облюбованной гусями для ночёвки. Во время отдыха гуси склёвывали зерно. Утром же Козьма и Демьян собирали не сумевшую встать на крыло, ковыляющую и барахтающуюся в речном песке пьяную птицу. Это называлось у них — «гуся поить». После удачной охоты Отченаши обычно и сами пускались в долгий запой.

И вот теперь Аверьян, глядя на две качающиеся фигурки на острове, молил Бога, чтобы братья загуляли на китайском берегу, не возвращались в станицу, и тогда приказ атамана остался бы неисполненным.

Услышав шум, доносящийся с пристани, Зубарев повернулся в её сторону. На пристани маячила сгорбленная спина сторожа Тимохи Суровцева, который грозил японским солдатам своим посохом. В ответ те весело гоготали и дурашливо целились в старика из винтовок. У Аверьяна вновь дёрнулась боль в изувеченной руке. Перед глазами встали сопки, разрывы снарядов, лошадиные морды в кровавой пене, отрешённые лица казаков и японских солдат, сбившихся в кровавой рубке; отблески солнца замелькали на японских штыках.

Аверьян наклонился к воде, плеснув здоровой рукой в лицо, отгоняя видение. Неожиданно он вспомнил себя маленьким казачонком, бегающим вдоль кромки воды в ожидании плотов с поселенцами, встреча с которыми приносила много диковинного и невиданного. Со страхом и жалостью смотрел он на кандальников и беглых, одетых в лохмотья. Видел он и проигравшихся вчистую в карты, сидящих на плотах почти нагишом. Видел и невозмутимых верблюдов, надменно поплёвывавших в воду.

Встречал же прибывающие плоты вечно пьяный сторож пристани Тимоха Суровцев. Он указывал места стоянок, помогая дровишками, советовал, у кого из старожилов разжиться харчами или кое-какой одеждой. В знак благодарности принимал он от сплавщиков одну чарку, другую, и так, обойдя запалённые костры, укладывался Тимоха на речном песке и засыпал вблизи охраняемой им пристани.

Вспомнил Аверьян и о том, что именно благодаря Тимохе объявились в станице братья Отченаши. Однажды, в очередной раз оторвав гудящую голову от песчаной подушки, услышал сторож писк, доносившийся из прибрежных кустов. Тимоха ошалело закрутил головой, отгоняя наваждение, но писк не прекращался. Более того, он вроде как бы раздвоился. Тимоха, неистово крестясь и бормоча молитву: «Отче наш, иже еси на небеси...», заглянул в кусты тальника и увидел грязный свёрток. Боязливо откинул тряпицу и обмер — на него смотрели два плачущих сморщенных личика. С воплем: «Дитё, дитё о двух головах!.. Чудище, чудище!..» — рванул Тимоха на берег и направился к церкви, стоящей недалеко от пристани.

...В принесённом в церковь свёртке обнаружила матушка двух младенцев и записку с корявой надписью: «Ихняя мамка померла». На крещении батюшка поднёс Тимохе чарку. На радостях сторож, вместо благодарственных слов забормотал:

— Отче наш, иже еси...

И потому батюшка, заглянув в святцы, недолго раздумывая записал в церковной книге: «Отченаши Козьма и Демьян, два дитяти мужского полу».

Отдали подкидышей бездетной одинокой Акулине Заовражной. Выпоила Акулина козьим молоком, напевая казацкие песни вместо колыбельных, двух отчаянных казачков. Воевал вместе с ними Аверьян на японской и дивился их храбрости и отваге. На правах старшего по годам не раз просил не бегать со смертью в догонялки, на что они только весело отмахивались:

— Фамилия у нас молитвенная, заговорённая. Выходит, что смерть нас боится.

Тимоха принялся вновь грозить японцам, которые всё-таки вытолкали орудие на косогор и направили его стволом в сторону пристани. Крики сторожа оторвали Аверьяна от воспоминаний. Встав с бревна, посмотрев ещё раз на остров и не обнаружив на нём братьев, он, проклиная японцев, атамана, себя, задержавшегося в станице и не уехавшего на заимку, направился домой.

...Ещё не рассвело, когда Зубарев прибыл к правлению. Отряд уже строился в походную колонну. Вскоре подъехали мятые с перепоя Отченаши. Атаман, посмотрев на хмурые лица казаков, приказал:

— Сдать оружие.

— Мы идём в конный рейд — и без оружия? возмутился Аверьян.

В ответ атаман, не глядя в глаза казакам, пробурчал:

— Вам приказано только сопроводить отряд на прииск, и оружие вам ни к чему, сдайте от греха подальше.

Сдавая оружие, Аверьян поймал торжеству-

ющий взгляд Кабаяси, который, ткнув пальцем, указал казакам место впереди отряда. Веклич же, демонстративно сняв с плеча короткий кавалерийский карабин, поставил своего коня следом за Аверьяном. Несколько японских солдат с винтовками наперевес встали за спинами казаков.

— Как кандальников, обложили, — оглядываясь назад, со злостью произнёс Козьма и открыл

фляжку со спиртом.

— Не пристало казаку служить басурманам, - сдержанно проговорил Демьян, вскакивая в седло.

Козьма, глотнув из фляжки, передал её брату.

— Братья, уедем на Самойловскую протоку, — негромко проговорил Аверьян, — а потом на заимки, япошки туда не сунутся.

Отченаши разом кивнули, заметно повеселев. Кабаяси отдал команду, колонна тронулась.

- ...К полудню отряд подошёл к Самойловской протоке. На берегу, недалеко от дороги, горел костёр, возле которого сидел, помешивая что-то в котелке, заросший клочковатой бородой человек. Кабаяси, увидев его, закрутился в седле:
 - Партизан... партизан...
- Это лешак, по прозванью Самойла, засмеялся Козьма, подъезжая к костру и приветствуя бородача. Соскочив с коня, он весело закрутил носом:
- Уха... Ух, уха-ушица!.. Потчуй, хозяин, проезжего!

Самойла, приветливо блеснув глазами, прогудел в бороду:

- Козьма, от тебя гусятиной несёт за версту, а ты рыбёшкой побираешься.
- Гуси улетели далеко, отшутился Козьма и протянул Самойле фляжку со спиртом.

Тот, открутив пробку, осторожно понюхал и широким жестом пригласил приехавших к костру:

— Прошу отведайте пищу отшельника.

Подъехал Веклич и, тыкая карабином в сторону костра, спросил:

- Ты кому сигналишь? Белым или красным?
- Для меня люди одной масти, не различаю их по окрасу. Да и обижен я на людишек, потому и живу в чаще, — сумрачно ответил Самойла.

Действительно, по теплу он жил на протоке, промышляя ловлей рыбы и заготовкой дров, рясно плывущих по амурской воде. Зимой же нанимался к крепким хозяевам для топки и присмотра заимок.

Из-за спины Веклича вывернулся с обнажённой саблей Кабаяси и зашипел:

— Партизан... партизан!

Самойла усмехнулся в бороду:

— Белые, красные, а теперича ишо и жёлтые объявились.

Веклич, подняв карабин, указал в столб дыма от костра:

— Красным сигналишь, сволота? Самойла поднялся в полный рост:

— Сигналю Господу, чтобы образумил людей безумных, почём зря друг дружку губящих.

— Мразь, не погань имени Всевышного! —

взорвался Веклич.

— Ты на меня не лай, иуда беспогонная, христопродавец! Веру и Отечество продал басурманам желтомордым, — двинулся на штабс-капитана Самойла.

Веклич, как от удара, покачнулся в седле и, почти не целясь, выстрелил в Самойлу. Тот схватился обеими руками за живот и, подмяв густую траву, повалился навзничь. Штабс-капитан на-

правил карабин в Зубарева. Стоящий у костра Демьян выхватил горящую ветку и сунул её в морду лошади Веклича. Лошадь шарахнулась, сбросив седока и, испуганно прядая ушами, умчалась прочь.

Кабаяси, отбросив саблю, зацарапал пальцами по кобуре, пытаясь её открыть, но ему это не удалось. Аверьян, подняв своего коня на дыбы, обрушил его на Кабаяси. Увидев в последний момент смятый околыш японской форменной фуражки, он повернул коня в сторону Амура.

...Трое казаков, нещадно нахлёстывая лошадей, скрылись в прибрежных зарослях тальника. Вслед им застучали запоздалые выстрелы.

Игнатова банька

Я очень люблю ходить в баню париться. Не просто мыться, а именно париться. И не млеть в суперсовременной кафельной хоромине с массажистами женского пола, а париться в баньке рубленой, с закопчённой каменкой. С полком и деревянными шайками.

Своей страстью я обязан деду Игнату Зенкову, живущему когда-то по соседству. Сразу скажу, что дед был парильщиком неподражаемым и непревзойдённым. Как-то раз, когда я учился классе в третьем-четвёртом, обратился он к моему отцу с необычайной просьбой:

Илья, разреши своему Валерке помогать мне париться.

Отец удивился и спросил:

— А что, твоя бабка уже не годится в парщики?

На что дед с присущей ему категоричностью ответил:

— Женщин надо беречь. Они и так каждый день у печки парятся.

Отец посмеялся и согласился:

— Пусть парит — здоровье будет.

И стал я ходить в баню вместе с дедом Игнатом. Быстро освоив незнакомое дело, был им окрещён «заряжающим». Поясню почему. Дед Зенков на войне был заряжающим в танке. Привёз с войны шлем танкиста, несколько медалей и алюминиевую кружку, которую называл военным трофеем. Привёз и страшный багровый шрам на шее — горел в танке. И вот, поддавая ковшиком в каменку, я напоминал деду о его армейской специальности, поэтому и был назван заряжающим.

Дед Зенков срубил собственными руками баню без предбанника — только как парилку. Строго запретил своей жене, для меня бабушки (пусть простит она меня на том свете: напрочь забыл её имя), в ней стирать: «Свои ландухи сти-

рай в лоханке». Это сейчас сельчане превратили бани в моечные и прачечные, извратив истинное предназначение бани — чистилища души и тела.

Банный процесс у деда, выражаясь по-современному, был поставлен высокопрофессионально. Топилась баня только берёзовыми дровами, специально заготовленными и сложенными в отдельную поленницу. Веники он готовил только дубовые, не признавая берёзовых, считая их пригодными только для глажения по известному мягкому месту. Заготавливал их в первой половине сентября, определяя момент заготовки своеобразно: «Подошло время бульбу копать — надо и веники заготовлять».

Для веников дед сламывал ветки не все подряд и не с деревьев. Срывал тонкие гибкие прутики с крупными листьями, выросшие у пней спиленных дубов. Тщательно перебирая их, формируя даже не веник, а самый настоящий веер с распущенной метёлкой. Делал веники разных размеров: небольшой — для первого пара, побольше — для второго, большой, напоминающий метлу, — для опрыска ледяной водой.

Был у него, как ни странно это звучит, и костюм парильщика. Состоял он из танкистского шлема, рукавиц из специальной непромокаемой ткани и вязаного шарфа. Да-да, шарфа, которым дед завязывал шрам на шее, Была ещё одна деталь костюма, которую я назову гульфиком. Хотя сам парильщик называл её иначе. Гульфик предохранял от палящего жара мужские признаки деда Игната.

Протопленную баню бабушка специальным самодельным ножом-скребком почти добела выскабливала. Скоблила потолок, лавки, шайки и даже пол. Настаивала в крутом кипятке мяту, душицу и другие травы, названия которых неведомы мне и до сих пор. Этим настоем обливала стены бани. Ковшик плескала и на раскалённые

камни. Банька вмиг заполнялась непередаваемым словами ароматом. Этот букет щекочет мои ноздри и по сей день.

Самую ответственную операцию — запаривание веников — дед совершал сам. Это не было убогим замачиванием в тазике, после которого веник превращается в нечто похожее на мочалку. Это было самое настоящее священнодействие. Дед веники именно запаривал. Для этого он плескал несколько ковшиков крутого кипятка на камни, подставлял веники под струю пара и крутил их до тех пор, пока засохшие листья не размокали. В клубах пара, с красным потным лицом, раздетый до пояса и с веником в руках, дед напоминал язычника, совершающего магический ритуал.

Подготовленные веники он раскладывал по своим местам: небольшой клал на полок, средний — на лавку у полка, большой — возле бочонка с ледяной водой. Всё — долгожданный, волнующий момент настал: банька готова.

В субботу, ровно в 7 часов, входил я в дом Зенковых.

Заставал деда с густо намыленными щеками, с опасной бритвой в руке. По его словам, он «скоблился». Бабушка суетилась возле печки. В доме пахло тестом, кипячёным молоком, свежевыстиранным, занесённым с мороза бельём. Я скидывал фуфайчонку, другую верхнюю одежду, оставаясь только в майке и трусах. Хватал вязанную по моему размеру лыжную шапочку, полотенце, набрасывал на голые плечи фуфайку, обувал на босу ногу валенки и по узкой утоптанной тропинке мчался в баню. Вваливался, скидывал одежду, ощущая каждой клеточкой тела палящее и благоухающее дыхание бани. Нагревался, впитывая в озябшее мальчишеское тело прокалённое, дурманящее пахнущее тепло, подвигал поближе к каменке бадейку с хлебным квасом.

Хлопала входная дверь. В клубах пара появлялся дед Игнат в танкистском шлеме, в драной шубейке на голом теле, в кальсонах и валенках. Довольно крякнув, суетливо и торопливо скидывал одежду. Надевал недостающие детали костюма парильщика, заматывал на боку тесёмку гульфика. В последнюю очередь, погрев руки над каменкой, натягивал рукавицы. Поправив на голове шлем, укладывался на полок, блаженно растягивался.

— Валерка, заряжай!

Я заряжал: набрав в ковшик кваса, плескал на камни. Струя пара с шумом вылетала и обволакивала растянувшегося на полке бывшего танкиста. Он постанывал.

— Валерка, заряжай!

Я опять заряжал и, согнувшись на лавочке, снизу поглядывал на деда. Тот лениво помахивал веником, раздувая ноздри, дышал носом.

— Заряжай, поддай!

Ещё один ковш кваса плескался в каменку. С полка раздавался блаженный стон. Я натягивал по самые глаза лыжную шапочку и скрючивался на лавочке почти у самого пола. С полка доносились размеренные удары веника.

— Валерка, ещё поддай капелюшку! — раздавался уже требовательный вскрик деда Игната.

Капелюшка — значит полковшика. После капелюшки веник начинал стучать неистово, дедов стон переходил в рёв. Парильщик начинал выкрикивать какие-то дикие слова. Затем опять:

— Валерка, капелюшку — и попарь старика.

Я забирался на лавку, поглубже натягивал на уши шапочку, брал дедовы рукавицы и, согнувшись, еле перенося жар, начинал неумело хлопать по дедовой спине.

— Валерка, с потягом, с потягом!

И я, выполняя его волю, хлопал с потягом. Дед извивался красным телом на полке, как только что выкопанный дождевой червяк. Бывший танкист вдруг начинал что-то мычать, а потом принимался петь:

— По берлинской мостовой едут, едут казаки. Ка-за-ки, ка-за-ки. Едут, едут по Берлину наши казаки... Ух, хватит!

Затем дед слезал с полка и, уронив голову на сложенные руки, отдыхал на лавке. Затем опять:

— Поддай!

Я поддавал и удирал к обледеневшей снизу двери, где было прохладнее. На полку дед Игнат неистовствовал, удары веником по телу наносил в бешеном ритме. С самоистязанием великого грешника он избивал своё тело.

— Валерка, охолодь!

Я брал веник-метлу, окунал его в бочку со стукающими в бока льдинками, опрыскивал парильщика ледяной водой. Дед ревел быком:

— Заряжай!

Я опять «заряжал», и дикое самобичевание продолжалось.

Постепенно веник успокаивался. Парильщик на полке замирал, затем сползал и, скинув шлем, пошатываясь, выплывал на улицу купаться в сугробах. Я быстренько наводил прохладной воды в шайке, обливался. Появлялся дед. На его красном теле снег, вода ручьями стекала на пол. Он торопливо натягивал шлем, опять запрыгивал на полок:

— Заряжай!

Я в который уже раз «заряжал». И, не вытираясь, натягивал раскалённые трусы, запрыгивал в валенки и выскакивал на улицу. Дымясь на морозе распаренным, почти голым телом, вбегал в дом Зенковых. Что там ещё выделывал дед после моего побега — не знаю. Бабушка отпаивала меня квасом, заботливо вытирая полотенцем, помогала одеться. Усадив за стол, наливала свежезаваренного, забелённого кипячёным молоком солёного чая. Да, солёного чая. Бабушка была

гуранкой. Гураны (кто не знает) — это потомки смешанных браков пришедших на Амур русских людей и местных народностей: маньчжуров, эвенков, гольдов и других. Гураны обожают солёный, забелённый молоком чай. К чаю бабушка подавала пирожки с творогом, черемшой, ватрушки, булочки с маком, медовые пряники.

Входил дед Игнат. Не снимая шубейки, валился на деревянный топчан. Бабушка уходила в баню. Отдышавшись, дед менял в соседней комнате прилипшие к телу кальсоны на сухие и усаживался за стол, на котором красовались «четки» — 250-граммовые бутыльки с водкой. Горлышки их были залиты поверх пробок сургучом. На столе дымилась отваренная картошка, залитая обжаренным с луком салом. На блюде истекала соком в зелени нарезанная селёдка домашнего посола.

Постучав по сургучу, дед открывал пробку бутылька и выливал водку в военный трофей алюминиевую кружку. Удовлетворённо хмыкал:

— Тютелька в тютельку!

И одним махом выпивал. Занюхав кусочком хлеба, тянул в рот селёдку. Всё это дед проделывал чинно, не спеша. После жаркой парилки и плотного ужина у меня слипались глаза. Я прощался с дедом Игнатом и уходил домой.

И это повторялось неукоснительно каждую субботу.

Нередко посещения бани связаны с какими-то забавными историями. Такая трагикомическая история произошла однажды и с дедом Игнатом. Напарившись, он ринулся на улицу — в сугробы. Когда вернулся в парилку после снежного купания, на его теле стали выступать капельки крови, которые собирались в тонкие струйки и стекали с него на пол. Он, ничего не понимая, поглядывал то на меня, то на текущую кровь.

— Откуда это? — спросил он больше у самого себя, чем у меня.

Затем подхватился, натянул кальсоны, валенки и выскочил на улицу. Назад парильщика я не дождался. Зайдя в дом, увидел деда Игната в изрядном подпитии, сидящего за столом в мокрых кальсонах. На столе стояли два пустых «четка». Бабушки дома не было. Дед начал пьяно разглагольствовать:

— Ты знаешь, Валерка, что она уделала? Летом подвязывала малину возле бани колючей проволокой. Так вот, осенью, когда малину укрыла землёй, проволоку не убрала. Вот в мирное время я и получил ранение... — И ткнул пальцем в засохшие капли крови. — Мало я рвал колючки грудью на фронте! — стукнул дед кулаком по столу так, что «четки» попадали. Дед замолчал. Потом поднял кулак к лицу, разжал пальцы и стал рассматривать ладонь.

— Я её вот этой рукой ударил, и она ушла из дома...

Затем пьяно брякнул:

— Отрублю руку!

— Зачем руку, лучше голову, — услышал я голос бабушки. Она стояла в дверях. Правая щека у неё была припухшей. Мне было очень жалко бабушку. Дед Игнат после её слов, вытянув шею с багровым шрамом, положил голову на стол:

— Отрубай! — И, не поднимая головы, сказал

мне: — Ты знаешь, какая она?

— Знаю, добрая.

Не замечая моих слов, дед продолжал:

— Знаешь, какая она? Она — святая! Да, святая. Когда я чуть не сгорел в танке под Курском и гнил заживо в госпитале в городе Энгельсе, она продала корову и через всю Россию (это в военную-то пору) приехала ко мне. Привезла гусиный жир, мази, настойки на травах и выходила меня. Она меня второй раз родила.

— Не рожала я тебя, — сказала бабушка, проходя в комнату за бельём. Собрав его, положила

возле деда на лавку сухие кальсоны.

— Переодень, рубальщик! — И ушла в баню. Дед поднялся, взял кальсоны и, пьяно покачи-

ваясь, подался в комнату переодеваться. Вскоре оттуда донеслось дедово чертыхание и стук упавшего тела. Затем раздался его сопящий голос:

— Надо же угодить двумя ногами в одну гачу! Хорошая примета. Значит, корова двойню принесёт.

Выйдя из комнаты в сухих кальсонах и потирая ушибленный бок, дед предложил:

— Заряжающий, давай почаюем?

— Давай, — согласился я.

Прихлёбывая чай из военного трофея, он из-

— Ты хочешь узнать, почему я так крепко парюсь? Потому что хочу перед ней, святой, чище быть. А я её — по лицу рукой... Теперь за всю оставшуюся жизнь не отпарюсь и не отмоюсь. — И принялся опять рассматривать свою ладонь.

...С той поры прошло много лет и зим. В последний раз помыли (не попарили), собрали и проводили в последний путь деда Игната Зенкова. Нет уже и бабушки. Нет и той баньки: разобрали на дрова. А мне по-прежнему слышится стонуще-требующий голос деда Игната:

— Валерка, заряжай! Поддай... капелюшку. Охолодь... охолодь... Попарь... С потягом, с потягом... Поддай... Заряжай!..

И я иду в баню попариться.